[Polaris]

Эльза Триоле

НА ТАИТИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

На Таити. Рис. П. Гогена. — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. - 72 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XXXIII).

В книге «На Таити», написанной еще на русском языке, Эльза Триоле — сестра Лили Брик, возлюбленная В. Маяковского и Л. Арагона, муза русской и французской богемы — в свойственной ей непринужденной и импрессионистической манере рассказывает о пребывании в Полинезии, где она жила со своим первым мужем, французским офицером.

-
- Эльза Триоле
  -
- НА ТАИТИ
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- Примечания
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17

POLARIS

ПУТЕШЕСТВИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ФАНТАСТИКА XXXIII

Эльза Триоле
НА ТАИТИ
Рис. П. Гогена

НА ТАИТИ

Посвящается Андрею

Не могу того таити,
Что люблю тебя сердешно.
Коль уедешь на Таити,
Буду плакать безутешно.

Р.Я.[1]

Ехали сначала по воде, потом по суше, потом снова по воде. Океаны отличаются волной: в одном — волна короткая и частая — вверх, вниз, вверх, вниз — либо нос, либо корма парохода висят в воздухе. В другом — волна длинная, долгая, пароход на ней помещается целиком и едет по волне, как сани по горе.

I
ЛЕНИВЫЙ ОКЕАН

Плыли мы сначала закутанные в шубы, замотанные в платки; потом в белой кисее, в парусине. Долго плыли. Переставляли часы. Перевалили через экватор. И когда стало казаться, что всегда так было и будет, — приехали. Пароход простоял сутки, набрал угля, провизии и уехал. А мы остались, окруженные водой.

Направились в гостиницу. Вечер, дождь. Идем сквозь сплошную стену теплой воды. Воздух пропитан сладким запахом ванили. Еле тащу тяжелые ноги, разморенное тело. Нельзя ли сейчас же уехать в какую-нибудь знакомую обыкновенную страну?

Деревянное двухэтажное здание, длинная и узкая, как коридор, терраса, несколько дверей. Большая полупустая комната, свеча, громоздкая кровать под наглухо закрытым тюлевым пологом.

В изнеможении опускаюсь на единственный стул. Надо ждать, пока все образуется, принесут чемоданы, оправят постель. Темнокожая женщина приносит кувшин с водой. Пытаюсь заговорить с ней, чтобы убить время, но сразу замолкаю, озадаченная неопределенностью ответов. Бог с ней… только бы поскорее добраться до постели, только бы скорее лечь, раскинуть мешающие ноги, руки, собрать потуже волосы.

Жду.

И вот, наконец, появляются отчего-то веселые черные люди и как пушинки бросают в угол тяжелые чемоданы. У них цветы на голове, цветы за ухом, они смеются и что-то говорят. В полумраке мне кажется, что в них происходят какие-то изменения, как будто я смотрю на них сквозь воду: они колеблются, укорачиваются, сгибаются. Незнакомая речь, не дробясь на слова, сливается в незнакомый напев.

Ушли.

Тушу свет, ложусь, жду покоя.

…Подушки пахнут непонятным, редкие, как канва, простыни сползают с тюфяка, коленкоровое одеяло без пододеяльника непривычно ничего не весит на теле. Комары, забравшиеся под полог, злобно жужжат з-з-з-з-з-з.

Утро. Ставни еще закрыты, но дверь на террасу только завешена слишком узкой кривой ситцевой занавеской и в комнате почти светло. За плохо сколоченной перегородкой слышится шум

падающей воды, плеск, говор, свист, смех. Андрей с мохнатым полотенцем через плечо возится около чемоданов и бурно радуется. Напряженно улыбаюсь и говорю, что все очень хорошо. Вяло пытаюсь встать, открываю пахнущий пылью полог. Беру мыло, полотенце и направляюсь в ванную.

На террасе, такой узкой, что если развернуть руки крестом, то одна из них вылезет наружу, стоят возле двери в нашу комнату — стол и два шатких стула. Это я помню еще с вечера… На террасу выходят несколько дверей; это тоже было вчера. Терраса заделана зеленой деревянной решеткой; через решетку видна улица; люди проходят совсем близко, но им нас не видно.

Встречаю хозяина.

При дневном свете он оказывается светлокожим, полным, приятной наружности человеком, с мелкими чертами лица, пухлыми руками, круглыми плечами. Не смущаясь тем, что я мало одета, хозяин начинает светским тоном вести со мной салонный разговор. Он в белой, расстегнутой на груди рубашке, босиком, за ухом у него цветок. Смотрю на него во все глаза, оживляюсь даже на минуту от удивления: что такое? Мужчина это или женщина?! Впрочем, все равно…

Ванная, вернее баня, оказалась большой комнатой с полуразвалившимися стенами. Каменный серый пол, ведущие вниз, в какую-то большую дыру ступеньки, над этой дырой — душ. Окно завешено мрачной ситцевой, как и в комнате, занавеской. Больше всего это похоже на разбойничью пещеру. Недоверчиво ступаю голыми ногами по тепловатому полу, спускаюсь в лужу мыльной воды. Брезгую всем, вплоть до чистой воды, падающей из душа. После холодной воды тело горит пуще прежнего.

На террасе — суета. Две темнокожих молодых женщины сломя голову исполняют приказания старой и огромной туземки, которая фыркает и шипит на них. Это приготовляют наш утренний завтрак и убирают комнату. На столе — хлеб, масло и неизвестные мне фрукты. Андрей пьет скверный кофе, сияет и верит в светлое будущее. Я тихо сажусь рядом с ним и думаю о том, что на меня из открытого чемодана, из-под белья, выползли три огромных, черных, мясистых таракана.

II
ЧТО ОКАЗАЛОСЬ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

В середине острова — горы. Очертания их мягки. В горы никогда никто не ходит — народ ленивый. Говорят, что там свежо и нет никаких болезней.

Вокруг гор, вдоль моря, идет плоская полоса, и это делает остров похожим на тарелку полную до краев. На этой плоской полосе, на краю тарелки, живут люди: белые, черные и желтые.

Остров — крепость ли то или тюрьма — окружен широким, очень широким рвом — морем между берегом и коралловым рифом. Коралловый риф же — крепостной непрерывный и непрерывный вал. За ним океан, по которому тоже пешком не пройдешь. Ров наполнен до краев как бы яркой жидкой краской, очень светло-синей и светло-зеленой. Эти два цвета нигде не сливаются ни на поверхности, ни в глубине, и зеленый остается насквозь зеленым, а синий насквозь синим до самого ясного дна морского. Определенность и чистота этих цветов дает то же ощущение удовлетворения, что вид развернутого куска цветного шелка или свеже-выдавленной на палитру краски.

А риф прячется под водой и выдает себя лишь шумом и пеной разбивающихся об него волн. Риф — это корни, а белая легкая, высоко взлетающая пена — распускающиеся пушистые цветы. Этот широкий шумный венок прерывается только в одном месте. Проход узок и еще не так давно одно военное судно разбилось вдребезги при входе в порт. Правда, говорят, что у капитана на этот счет были свои личные соображения и намерения, и он был предан суду, но судно все еще на дне морском и в ясную погоду его хорошо видно.

Напротив прохода расположился город. В нем два кинематографа, автомобили Форд, церкви, водопровод, канализация, электричество, губернатор, лавки и сплетни. Вокруг острова, берегом моря, идет шоссейная дорога. Из города по ней можно ехать направо и налево. Направо, в сторону плетеных шалашей королевы Помарэ[2], ее летней резиденции, налево — в сторону лепрозория. Впрочем, едешь ли направо или налево — приезжаешь к исходной точке.

В городе же улиц много. Есть также и площадь, а кругом нее несколько казенных каменных зданий, деревянный дом семьи Помарэ, полиция, милиция и институт для благородных девиц.

Здесь же происходят народные гулянья и патриотические торжества.

В одной части города живут и торгуют китайцы.

Дома в городе деревянные, как наши дачи, но стоят почти все на невысоких сваях. Дома получше расположены на берегу. В глубине города — душно и пахуче, дома, окруженные садиками, стоят тесно. Сады — густая чаща из причудливой, узорной зелени и ярких, мясистых цветов. Думаешь издали — пожар, а это дерево цветет. Цветы почти все без запаха, но взглянешь на них и душа пляшет.

По городу катятся, подскакивая, легонькие Форды, бегут, запряженные в двуколки, маленькие лошадки, быстро, и как будто на месте, перебирая ногами. Проходят темнокожие женщины в белых платьях ампир, подбирая шлейф рукой, темнокожие мужчины в тонкоплетеных местных канотье. Спины их удивительно прямы, голова не подается вперед, плечи развернуты. Проходят бледные, нездорового цвета, белые, в тропических касках, худые деловитые китайцы. Полуголые ребятишки путаются под ногами и насвистывают вальс Миссури, от которого мы бежали в эту дальнюю сторону.

Городок кончается, где начинаются горы. Горы высокие и зеленые.

Если же выехать из этой столицы многих архипелагов, направо в сторону летней резиденции королевы Помарэ, или налево в сторону лепрозория, то по дороге будут встречаться: скалы, кокосовые деревья без конца, зеленые газоны и зеленая чаща, яркие кусты цветов, нежные легкие и светлые рисовые поля на тонкой земле, жесткий темный сахарный тростник и изредка местами группы домов с прислонившейся к ним китайской лавчонкой.

Дорогу бесчисленное множество раз пересекают речки, поспешно или медленно текущие к морю из никому неведомой глубины острова. То они каменисты, то дно их песчанно; они прячутся в зеленой заросли или открыто блестят на солнце, и разнообразие их бесконечно. Большею частью узкие и мелкие, их легко перейти вброд, но встречаются и широкие и глубокие, так что можно въехать в них с моря на пироге. Правда, только у самого устья они начинают походить на настоящие реки и через них перекинуты мостики и даже мосты. Андрей, сделавший экскурсию вглубь острова, в три дня перешел вброд 93 реки — туда и 93 обратно. Вода доходила то до щиколотки, то до колен, то по пояс.

Туземцы народ очень чистоплотный, любят возиться и плескаться в этих речках. В море они купаются редко.

Весь остров разделен на «дистрикты». Про туземца говорят: он из такого-то дистрикта. В дистриктах домики туземцев чисты и пусты. Шкапы и кровати встречаются редко. Сидя на корточках на земле, туземцы едят, плетут шляпы, гладят свои белые платья ампир, чисто выстиранные в холодной воде. Плетение шляп носит почти характер производства.

Народ красивый, ласковый, улыбающийся и гостеприимный. Цвет кожи не очень темный, цвета некрепкого кофе с молоком. Поверхность тела скорей напоминает дерево, чем бронзу. Мужчины и женщины очень схожи между собой, на обезьян же непохожи нисколько: большого роста, широкоплечие, прямоногие. Волосы женщин черны, гладки, пропитаны кокосовым маслом и часто очень длинные, до самых колен, тяжелые, красивые ноги, заканчиваются маленькой ступней, а удивительные пальцы рук — длинными, как будто холеными ногтями. Руки изнутри и снаружи одинакового цвета, не как у негров, у которых ладонь почти белая.

Лица у мужчин и у женщин по большей части плоские, рты большие, расхлябанные, носы приплюснутые, брови негустые, не очень черные, широкие, подвижные — вверх и вниз.

Первое время это кажется уродливым, особенно у женщин, но к их внешности привыкаешь, как ко вкусу их фруктов: сначала непонятно, так как непохоже ни на яблоки, ни на персики, ни на сливы, потом так противно, что выплевываешь, а потом — просишь еще.

Еще не так давно туземцы заворачивались в прямую, широкую тряпку, красную, с большим белым узором или синюю — с оранжевым. Тряпка эта называется «парео». Женщины тесно оборачивают ее раза два вокруг себя, начинается она над грудью и доходит до колен. Мужчины искусно сворачивают на себе что-то вроде трусиков. Но сейчас это уже увидеть трудно, «Наша», говорят они, — «стыдно». Живут туземцы на равном с белыми положении, подают при встрече руку, даже если служат в прислугах, говорят всем без различия «ты». Осанка у них горделивая, держат они себя просто и с достоинством.

Работать они не любят. Ловят рыбу, изредка ходят на охоту за одичавшими свиньями, единственной дичью острова, и взбираются под небеса за кокосовыми орехами. Теперь они также пьют ром и за это иногда работают в городе.

Те, которые хотят увидеть этот народ, хотя бы еще в таком его виде, должны торопливо плыть через океаны.

Мы продолжаем жить в гостинице Джонни Гудин и дружим с ним.

Комнаты в гостинице Джонни Гудин, этого неизвестного пола существа, не приспособлены для долговременного житья в них: кровать, умывальник, один стул, для платьев несколько крючков за занавеской — вот и вся обстановка. Терраса же — место проходное, да кроме того, на ней тоже негде сесть, прислониться. Вещи наши вот уже целый месяц лежат в чемоданах нераспакованные, а в них тараканы, которые завелись на следующий же день после приезда.

За поиски дома мы взялись рьяно, но дело оказалось трудным. Пустующих домов было мало, и кроме того, в то время все расстояния мне казались такими бесконечно длинными, что поиски для меня были истинным мучением. Это было как раз во время сезона дождей. Когда на короткое время переставал идти дождь, воздух оставался мокрым от испарений. Влажная, мокрая жара не спадала ни днем, ни ночью. Мне казалось, что тело мое разбухло, и для того, чтобы только через улицу перейти, я затрачивала всю мою энергию.

Джонни два раза был в Америке, разговаривал о чем угодно и выражался изысканно. Он всегда бывал весел и никогда не работал. С семи часов утра бренчал на гитаре и почти неумолчно весь день раздавались в доме все те же две песни. Когда приходил пароход, то на два дня его стоянки Джонни надевал башмаки и шляпу и превращался в истого джентльмена.

На кухне, которая находилась в саду и куда я приходила к нему посидеть, он угощал меня апельсинной настойкой, а потом, у меня в комнате с интересом рассматривал мои шляпы и платья. — Это прелестно, — говорил он тонким, певучим голосом, поводя круглым плечом, — прелестно — и передвигался походкой манекенш в салонах больших портних.

Как-то Джонни устроил для нас обед из туземных блюд. С утра в доме волнение было невероятное. Готовил сам Джонни с помощью двух туземок. Комната наша стояла неубранная целый день.

Кушанье готовится на земле, на раскаленных камнях. Каждое блюдо плотно завернуто в листья бананов и сверху все вместе опять покрыто банановыми листьями во много слоев. Поверх них — куча сырых тряпок и совсем сверху — несколько камней, чтобы все это держалось. Через несколько часов печку открывают, развертывают листья и кушанье кладут на тарелки. Велели мне есть руками, но я не стала.

Предупредительный Джонни, Андрей и я сидели за столом на узкой террасе и долго ели: сырую рыбу с кокосовым молоком, поросенка с кокосовым молоком, крупные креветки с кокосовым молоком, клейкие, разваренные бананы с кокосовым молоком.

Сырую рыбу подали на закуску. Вкусом она напоминает маринованную селедку. Поросенок мелко нарезан и перемешан с листьями таро, приготовленными, как шпинат. Бананы тоже нарезаны, смешаны с сахаром и крахмалом и, полежав в печке, превращаются в пудинг. Вместо хлеба — плоды хлебного дерева и бананы «феи». Плоды хлебного дерева с виду похожи на большие зеленые апельсины, а вкусом на тяжелый хлеб без соли. Они, так же как бананы «феи», приготовлены в печке, сырыми их не едят. Пили мы белое вино, разбавленное водой, с лимоном и сахаром. В него подливают ром и кладут куски льда.

Когда мы кончили обедать и уже с трудом дышали, пришли две темнокожих женщины, болтали что-то на своем языке и пили с нами настойку. Подошли еще какие-то люди, жители гостиницы, и просто проходящие мимо. Мы перешли в дом, в проходную комнату, где поднималась лестница на второй этаж, куда выходило много дверей, и стояли сундуки из кедрового резного дерева. Джонни сидел на сундуке и бренчал на гитаре, любезно и рассеянно посмеиваясь. Одна из женщин обтянула заднюю часть шарфом, стала двигать боками и петь. За ней пустилась и другая. Рыжий, беззубый американец, прислонившись к стене, неудержимо радовался и бесновался, глядя на них. Становилось все оживленней. На лестнице разместилось несколько человек. Полупьяная женщина, лежа на полу у наших ног, спиною к сундуку, на котором мы сидели, клонилась к Андрею на колени. Он осторожно сдвигал ее голову на крышку сундука. Джонни без всякого интереса относясь ко всему происходящему, спокойно бренчал на гитаре и занимал меня разговором. Я незаметно держала Андрея за рукав. Женщина у наших ног обиженно толкала его в мою сторону и говорила: «Иди, иди к своей милой!» «Белый, как ты хорош и как я хотела бы узнать радость в твоих объятьях!» — поет другая молодая и красивая, продолжая вилять боками и дразнить рыжего американца, который, наконец, зверем бросился на нее, вовсе не скрывая своих чувств. Визг, смех, руготня.

Я ушла спать с тяжелой головой и вкусом сырой рыбы с кокосовым молоком во рту. Рядом еще долго продолжали шуметь.

III
ЛЕТОМ, В ЯНВАРЕ…

Сижу на террасе, полуодетая; сквозь деревянную, частую решетку слежу за проходящими.

Где-то близко бренчит на гитаре Джонни. Так и будет без конца повторять эту песню…

На столе странные, несъедобные, тепловатые фрукты и книга, уже который день раскрытая на той же странице…

Из дома выплывает грузная, старая туземка, садится неподалеку, заполняя всю ширину террасы. Смотрит на улицу.

Шлепая босыми ногами, встряхивая косичками, пробегает темнокожая девушка, косится на меня любопытствующим черным глазом. Исчезает и опять появляется, о чем-то хлопочет.

Стараюсь устроиться на жестком неверном стуле как можно удобнее. Сквозь щелочки век смотрю помутневшими глазами и вижу, не видя, равнодушно, как зеркало, отражающее в себе предметы: передо мной качается высокая мачта; море близко, через дорогу, и мачта мне кажется огромной. На берегу полуголый маори возится с канатом, придерживая его между большим и вторым пальцем ноги, самостоятельных, как пальцы рук. Дальше — полированная светлая зелень и синь воды; изредка по ней скользнет пирога. Направо от меня, там, где берег бухты заворачивает полукругом, собрались лодки, барки, пироги; жалкий пароходишко, накренившись, прислонился к берегу.

Налево, далеко вкалывая в синеву неба, острия гор — громада острова Мооpea[3]. Остров — то зеленый ясный, с бегающими по долинам и скалам светом и тенью, то почти черный, громоздится компактной непроницаемой массой.

За блестящей зеленой и синей эмалью вод белеет пушистая черта пены над рифом. За нею — муть океана и вычерченная гигантским циркулем аккуратная линия горизонта. Центр этого круга, вероятно, находится в середине острова, там, за горами… и мне представляется, что из этого центра проведены три концентрические окружности: контур берега острова, белая черта, что над рифом, и широко раскинувшаяся линия горизонта.

Мозг работает все медленней… А день все сереет, меркнет… Воздух уплотняется, наступает, сжимает. Хочется руками снять с себя эту влажную, серую тяжесть. Время остановилось.

Но вот случилось что-то. Хлынуло. Полилось. Зашумело. Выросла перед глазами колеблющаяся, теплая, мягкая водяная стена. А теперь разом зажглись все огни. Оранжевая изломанная

стрела грозно указывает на море. Прячу голову в колени… Гррррррррхо-х-ох-ох-ох-ох-ох — перекатилось с одной стороны горизонта на другую, изо всех сил ударив над самой головой и спеша утихнуть где-то вдалеке. В наступившей тишине, отделившись от плеска дождя, слышу — падают где-то над ухом частые капли с крыши: пля… пля… пля… пля… пля… пля… А Джонни бренчит на гитаре. Все ту же песню. Неподвижно сидит темнокожая грузная женщина, занимая всю ширину террасы. На столе раскрытая книга, нетронутые тепловатые фрукты.

Почти остановившееся сознание выводит, сменяет на водной стене передо мной когда-то привычные, милые взгляду фигуры, вещи: кривой переулок, желтый двухэтажный домик ампир, страшный дворник с большой бородой, развалившийся деревянный забор, вросшая в землю церковка с золоченым куполом… Проходит разносчик, прямо и неподвижно неся голову с лотком. На лотке до блеска натертые яблоки и груши «дюшес»… Грохоча проезжает телега с кирпичом. Ломовой, розовый от кирпичной пыли, с раной на щеке, заклеенной газетной бумагой, тяжело ступает рядом, размахивая кнутом. Думает о своем и погоняет лохматую рыжую лошаденку: — Но-о-о…

Водная стена передо мной становится прозрачной, редеет, делится на струйки. Я снова вижу море. На нем круговые морщины от редких, тяжелых капель.

Высоко вздернув белые юбки над темными ногами, неспеша проходят туземки, неся под мышкой туфли и чулки. Согнувшись, неслышно пробираются китайцы под большими уродливыми черными зонтами. В белой рубахе и красном «парео» вместо брюк тащится старик, отягощенный слоновой проказой. Чудовищные ноги, в точности напоминающие ноги слона, покрыты язвами. На берегу маори снова возится с канатом.

Расправляя почти парализованные члены, иду одеваться, чтобы ехать с визитом к губернаторше.

IV
ПОВАР АПАУ И ГОРНИЧНАЯ ВАХИНЭ

У меня был китаец повар Апау и темнокожая горничная Вахинэ.

Китайцы своих женщин держат в полном повиновении и отчего это у белых по-другому — понять не могут. У Henriette А слуга китаец никогда не подметал под той стороной двуспальной кровати, с которой она, как он высмотрел, спала. Под кроватью была аккуратно выметена одна половина до середины. Вот до чего презирал женщин. А другой китаец-повар, за сделанное ему женщиной замечание, бросился на нее с ножом.

Апау маленького роста, поджарый, лицо у него китайское. Точен и аккуратен он до того, что мы вместо часов по нем жили. Человек он был трезвый и честный, но отчего-то, прослужив у нас месяцев шесть, открыл собственное небольшое коммерческое предприятие.

Андрей постоянно ему что-нибудь дарил. С себя снимет и ему подарит. Вещи дарил не всегда китайцу нужные, но Апау принимал все одинаково спокойно: галстухи, белые костюмы, сшитые у китайца портного и сидевшие на Андрее несколько мешковато, карандаши Koh-I-Noor[4] — страсть Андрея, нежнейшие пижамы, фетровую зимнюю шляпу и т. д.

Говорил Апау со мной по-английски, каждую фразу начинал словом — «предположим»: «предположим, мы сегодня к завтраку сделаем фаршированных крабов». «Предположим, лед растаял и масло потекло». «Предположим, сегодня на базаре креветок не оказалось». «Предположим, это дело Вахинэ мыть посуду, а не мое».

Темнокожая горничная Вахинэ, которая на обеде у Джонни Гудин говорила Андрею: «Иди, иди к своей милой», ни в чем на Апау похожа не была: вовремя никогда не приходила, редко бывала трезвой и непрочь была захватить, что плохо лежит. Женщина она была немолодая и очень гулящая, больше даже, чем полагается на этом острове, где вообще это полагается. Считалось, что она живет в маленьком домике во дворе, но ночевала она там редко. Ее совсем молодой «танэ» (муж, мужчина) был родом не с этого острова, где темнокожие мирны и кротки, а с соседнего архипелага. Когда он бывал пьян, — а пьян он бывал часто, он бил ее смертным боем и пел у нас ночью на дворе во весь голос непристойные французские песни. Научился он им, и многому другому, в армии, на войне. Таких, как он, на

острове немало.

Как-то я обнаружила, что в две недели у меня ушло 25 фунтов сахару. Началось расследование. Апау, смотря в сторону и со слезами на глазах, говорит: «Предположим, Вахинэ раздает сахар всем своим фети» (родственникам). Вахинэ косилась на меня в ожидании скандала, но скандала не вышло: вина была моя, сахар надо запирать. Часто она приходила прямо ко второму завтраку или вовсе не приходила. Ловкая, расторопная и умная, она умела все, что хотела, но редко хотела. Когда я пыталась ей что-нибудь объяснить, она понимала тоже только то, что хотела, хотя в пьяном виде оказывалось, что она хорошо говорит по-английски. Обычно же она только смотрела на меня, смущенно улыбалась, поднимала и снова опускала в знак утверждения, круглые, широкие брови и тогда уже произносила «э», что значит — «да».

Она воспитывала черномазого мальчонку, который бегал по двору, пищал и путался под ногами. Сердиться на него было невозможно, помесь китайца с маори, у него темная кожа, раскосые глаза, нос пуговкой, черные волосы, прилипающие к голове маленькими, редкими колечками. Гладкий, блестящий, упитанный, с сосредоточенным видом, сопящий над разрушением какого-нибудь предмета, — казалось, что он сделан таким для того, чтобы было смешно. Я играла с ним, как с котенком, и из-за него не решалась отказать гулящей Вахинэ.

V
О НОЧИ

Первоначально, когда организовалась вселенная, предполагалось, что ночь будет служить для отдыха и восстановления сил. Ночью всегда и везде полагается спать, и темнота, луна и звезды существуют не для того, чтобы было страшно.

Мне случилось жить в степи Закавказья, в маленькой станице, почти в полном одиночестве. Как мирно бывало гулять ночью по саду, пахнущему табаком. Жила в одиноком доме на ранче, в плодородной пустыне Калифорнии и, шагая ночью по макадаму дороги[5], думала о том, что именно надо будет купить завтра в соседнем городке.

Но там, на этом острове, между небом и землей, я узнала, что такое ночная жуть. В нашей огромной спальне, с пятью дверьми и окном, ночью бывало странно. Иногда Андрей раза три-четыре вставал и ходил по дому с электрическим фонарем, разыскивая причину шума. За ним трусливо, рысцой бежала и я. Никогда мы ничего не находили и шумы продолжали тревожить нас.

Хорошо знать, чего боишься, существуют замки, револьверы, но кто знает, что шелестит, токает, вздыхает во мгле и в блеске тропической ночи? Глухой удар, треск, окна задребезжали, дверь заскрипела, свет мелькнул! Что такое?! Ничего, молчание. Чужое черное небо, с как бы проколотым булавкой и видным на свет незнакомым узором созвездий. Тишина звонит в ушах. Стальное море беззвучно переливается под луной, будто ничего ни о чем не знает. Трепещет на нем лунная дорожка. Неподвижно, стремительно высятся пальмы…

Сон проходит. Спускаемся в сад. Лунный свет так ярок, что кажется, что от этого должен произойти шум. Но все тихо. Сад, днем пестрый, как мое лоскутное одеяло, весь обесцвечен, будто все цветное в нем чем-то стравлено и превратилось в белое и черное. И блеск появился, блеск черного японского лака и перламутровый блеск его инкрустаций. Все строго, чисто, четко, словно никогда не проходили здесь люди, словно только мы двое видели этот блеск, провалы тупой бархатной тьмы, и слышали шум разбивающихся о рифы волн…

С гор повеяло холодком. Возвращаемся в тихий дом, в огромную спальню, с пятью настежь открытыми дверьми и окном, и снова в них струится, ползет из всех щелей, настигает нас непонятное, чужое, безымянное. Впрочем, имя этому есть,

туземцы называют то, что живет ночью и чего мы не можем понять, — Тупапау.

Родные московские темные ночи со звездным небом, белые ночи Финляндии, душные ночи Италии, светлые, обширные калифорнийские ночи, серенькие ночи Парижа, Берлина, ночи Кавказа, что же в вас по-другому?..

VI
РУССКИЙ

В соседнем с нами доме, так что двор у нас был общий, жил заблудившийся на острове Русский, с женой американкой и воспитанницей — девочкой Кукки. Из России он уехал лет 2 о тому назад, и, видимо, с тех пор не изменился. С восторгом ломился он в давно открытые двери, любил говорить о красоте материнства, об искусстве как о средстве морального воздействия на массы, о воздержании, верности и возвращении к природе. А поэтому ел в изобилии всякую сырую зелень, восторгался картиной «Всюду жизнь», был верен седой жене, носил рубашки без рукавов и ходил предпочтительно босиком.

Его мечтой было вернуться в Россию. Он верил, что все, что там происходит, прекрасно, и что он там совершенно необходимый человек. Так и говорил: «Я поеду в Россию, поговорю с Лениным и Троцким, и если они согласны с моими воззрениями, будем работать вместе».

Андрей не переносил его навязчивой, наивной морали, зверел, когда разговаривал с ним, и часто они оба в голос кричали, а я огорчалась и мирила.

Хорошо было у Русского на его даче, совсем по другую сторону острова, далеко. Состроил он ее собственноручно, с единственной помощью черного друга Тапу. Дом получился своеобразной архитектуры, но построен он был прочно, и безопасно покачивался на гибких высоких сваях.

Место, где стояла дача, было открытое, горы и чаща отодвинулись куда-то вглубь. Высокая обширная терраса напоминала палубу парохода. Ветер так и гулял по ней. Маленькие комнаты были набиты книгами. Кухня находилась под домом, а уборная над самой водой и идти к ней надо было далеко в море, по узеньким мосткам.

Седая, благообразная жена Русского имела достойный вид. Детей, которых она очень желала иметь, бог ей не послал и она взяла на воспитание девочку Кук-ки. Она любила ухаживать за больными и говорить о муже сестры, который жил в Вашингтоне и занимал «самое высокое положение в американском флоте». С горечью вспоминала она о своих брошках и кольцах, которые когда-то раздала, так как муж считал иметь их безнравственным, и о хорошей обыкновенной жизни в Америке…

VII
ЧАСА ДВА ПОПОЛУДНИ…

Я лежу пластом на кровати, предварительно истребив под пологом всех комаров и размышляю. Андрей возится на дворе с лошадкой Танюшей, я слышу, как он покрикивает на нее, и стук копыт о деревянный пол конюшни, сначала слежу за уцелевшим комаром, потом незаметно закрываю глаза…

Когда-то меня звали Элей, я училась в гимназии, у меня была подруга Надя и толстая длинная коса. Тогда я была влюблена в маленького черного человечка, похожего на японца, про которого моя сестра говорила, что любовь к нему похожа на корь: для всех неизбежна, неопасна и быстро проходит. Единственным темным пятном и моей жизни были гаммы, в частности, и рояль — в общем.

Открываю глаза. Через щель в ставнях прорывается свет, как лучи, направленные на экран в темноте кинематографа. На дворе шумно, потом снова тишина.

…Хорошо бывало дома вечером. Напившись чаю в столовой, иду спать, унося под мышкой «Великого Розенкрейцера»[6] Всеволода Соловьева. Перед тем, как лечь, влезаю на высокий подоконник, чтобы закрыть форточку в проветривающейся спальне. Высовываю голову на морозный, пахнущий гарью воздух. Живем на третьем этаже. Передо мной через улицу громоздкая, белая, рыхлая, пушистая, мерцающая голубыми искорками крыша. Дальше еще белые мерцающие крыши, дальше белые крыши сереют, тухнут, а еще дальше — все сливается и серую гладь, из которой неясно высовываются трубы заводов. Все это — город, все, что я вижу, — город… В воздухе повис высокий гудок, долгий, долгий, родившийся в воздухе и растворившийся в нем снова. Смотрю и замираю от ужаса перед тем, что поняла на мгновенье… Быстро захлопываю форточку и оборачиваюсь: родные стены, вещи ласково успокаивают и обещают защитить. На подушке оправленной постели яблоко и кусочек мармелада, которые положила мне мама. Это так и называется «на подушку». Раздеваюсь, не отрываясь от книги, и ложусь. Грызу некрасивое вкусное антоновское яблоко, из тех, что мама называет «детскими», в отличие от «яблок для гостей», и которые хранятся в большой суповой миске с правой стороны буфета. Спешу докончить главу, в постели читать не разрешается и я в сотый раз услышу — «ты портишь себе глаза, лежа читать нельзя». Тушу свет. В столовой папа шуршит газетой и кашляет. В дальней

комнате мама играет на рояле. Я засыпаю под звуки, которые в полудреме мне кажутся божественными. Отчего-то снова внезапно просыпаюсь, вечность прошла, а звуки продолжают играть в пространстве. Когда я днем прошу маму сыграть то же, что вчера вечером, я ничего не узнаю и утверждаю, что она играла другое…

На дворе возня давно прекратилась. Вот быстрые шаги и Андрей вкатывается в комнату, согнутый в три погибели и подвывая от смеха. Я сажусь на кровати. «Ну?» — «Теритити», — выговаривает он. — «Что?» — «Теритити» Я назвал твою Таути Теритити. По-твоему это не смешно?» — «Теритити!» Я начинаю понимать, что Теритити — это невероятно смешно, переворачиваюсь на живот и покатываюсь со смеха…

Так как народу там немного, то père Rougier[7] я узнала на улице, выбрав наиболее, по-моему, подходящего из встречающихся мне людей: едет человек на маленьком фордике, одет во все черное, большой, грузный, так что из фордика его выпирает, словно взрослого из детской коляски. Впереди раздвоенная, длинная рыжеватая борода развевается.

Кто же это может быть, как не père Rougier?

Так же на улице я узнала, не зная ее, маленькую танцовщицу негритянку из Парижа Ниоту-Ниоку, когда она промелькнула в желтом гоночном автомобиле Испано-Суиза, удобно в нем раскинувшись, словно она едет по Булонскому лесу. Успела заметить темные, точеные голые руки, колпак густых, черных, стриженных негритянских волос, надменное личико — безошибочно решила, что это должна быть она.

Узнала и американочку Бетти, по улыбке, полной готовности, — по ее грации, золотым волосам, бледности и преждевременным морщинкам вокруг глаз и рта. Узнала и многих других.

Так, вероятно, узнавали и меня, может быть, по неуспевшим еще загореть щекам, или по новенькому, блестящему, велосипеду, или по любопытным взглядам, которые я кидала по сторонам.

За что его расстригли, я не знаю. Сам père Rougier об этом факте забывает и продолжает называть себя «отец». Здесь, на этом далеком острове, он быстро обжился, завел каменный дом, племянницу и немало всякого добра.

Отец Ружье удит угрей в речке, а племянница из овернской деревни плетет кружева на террасе, выходящей на обширный двор с высокими, тенистыми деревьями, — быстро, быстро, как крестьянки в Оверни, перебрасывая на подушке коклюши.

Где-то далеко, в океане, отцу Ружье принадлежит остров.

Никто не знает, как он ему достался, никто там не живет и пароходы туда не заходят. Только остатки потерпевших у экватора крушение судов пригоняются сильным течением к островку, и берег бухты «La baie des Braves»[8] со всегда бурлящей в ней водой, покрыт обломками. Отец Ружье решил учредить там приют для детей. Собрал на это благое дело много денег и теперь в его распоряжении даровые работники для плантации. Впрочем, об этом острове им написана книга «The Christmas Island»[9].

Пароходик у отца Ружье собственный. Десять дней и десять ночей едет он на нем из желтого каменного дома на свой одинокий остров.

Андрея и меня он любил, кормил угрями, которых при нас же удил и из которых племянница сейчас же приготовляла «matelote au vin rouge»[10], поил нас вином и защищал от сплетен.

VIII
О НЕДОСТАТКАХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Когда Андрей уезжал на дальние острова, для меня немыслимо было вытерпеть в одиночестве эти яркие ночи. Попробовав раза два, три, я убедилась, что это мне не под силу. Тогда меня стал сторожить черный Тапу, ложась на пол, на веранду перед одной из дверей.

Тапу — закадычный друг Русского. Он называет его «Саса», что значит Саша и говорит примерно так: «Са-са моя идет работать». Тапу всегда весел и доволен, поведение его безупречно. Только изредка он исчезает на несколько дней, потом приходит грустный, убитый и говорит: «Да, Саса, напился». Ночью я слышу его потрясающий храп и мне не страшно.

Потом стали приходит на ночевку подруги, потом, когда беспутную Вахинэ заменила молоденькая Таути, то она ночевала в соседней с моей спальной комнате. Правда, от нее толку было мало, так как спала она уж очень крепко. Бывало, мы уйдем в кинематограф, а ее оставим сторожить дом. Она ложилась на веранде на висячую комфортабельную кровать с матрацем, крытым циновкой, на которой днем мы качались, как на качелях, и моментально засыпала, так что желающие могли бы унести ее вместе с домом.

Чаще всего на ночевку приходила тоненькая, смуглая, кудрявая Henriette A. Андрей видел в ней только провинциалку и мещаночку, несмотря на многообещающую внешность. Я не замечала смешного. Нежная, сентиментальная, стремительная и злобно-цельная, она рассказывала мне о своей любви и жизни, и я с участливым любопытством слушала среди глубокой ночи ее откровенные рассказы.

Если бы это было возможно, я бы вывезла оттуда вместе с вышивками, венками, цепями из мельчайших ракушек, цветными тканями, деревянными резными чашками и многими другими предметами нескольких женщин, женщин таких прелестных, что здесь у них было бы свое маленькое влюбленное королевство и рой верноподданных. А там за неимением лучшего, они выходят замуж за загнанных туда невзгодами, преступлением, случайностью, изъеденных тропической жизнью, мужчин. Потом они всю жизнь недовольны, томятся, грустят и даже не решаются подражать мужчинам в неверности, так как при гарнизонной

жизни города это им может дорого обойтись.

IX
НЕМНОГО О ТЕМНОКОЖИХ

Тяжелые, прямые ноги; широкие, квадратные, вздернутые плечи, прямая спина без загиба у шеи, словно вместо позвоночника — стержень железный, голова очень прямо посаженная на этот стержень, крепкая шея; лица суровые, дикие, неприступные. Словно деревянные боги, почти больше человеческого роста. Как угадать, когда равнодушно, не глядя, они проходят мимо, ступая ровно, не раскачиваясь, неся на крепких длинных ногах неподвижное туловище и высоко поднятую голову, как угадать, что они все видят, все замечают и спешат, чтобы рассказать события встречи до мельчайших подробностей? Их речи и интересы пустяшны. Они много смеются детским смехом. Любопытные, они невидимо окружают дом, подглядывают, подслушивают, и потом кроткие, улыбающиеся, украшенные цветами, с восторгом разносят вести по острову. — «У него проказа, доктору деньги дал оттого не отправили в лепрозорий».

Они упрямы, бессмысленно, как дети, не желающие подать руку чужому дяде. «Айта» — «Нет». И убедить невозможно.

По-детски боятся и прячутся они от Тупапау.

Тупапау — души умерших, населяют бесшумные ночи. Они смотрят желтыми глазами из-под черного, блестящего куста, они ветром перелетают через молочно-белую траву лужайки, они качаются на светлых, широких, как сиденье стула, лопастях листьев, таятся за каждым молчаливым из железа кованым деревом, в гуще каждого куста, цветущего свинцовыми, мутно сияющими цветами, они дергают за волосы, щекочут голые ноги, шелестят, бормочут, охают… И повторяется, выстукивается страшное слово: Тупапау… Тупапау… Тупапау…

Маори ночью не удаляются от дома.

Говорят, что в былое время на острове никогда не бывало краж, да и теперь еще кражи случаются редко. Иногда стянут что-нибудь, что очень плохо лежит, без предвзятой мысли, если подвернется. Обдумать и нарочно пойти, чтобы украсть, — стоит ли? А если поймать с поличным, все бросают, смеются и бегут.

«Hama vahine pora» — «стыдно белой женщины». Перед белой женщиной туземке всего стыдно: показаться в парео, позволить себя фотографировать, сказать самую невинную вещь на европейском языке. Зато перед мужчинами «hama» не существует. И на языке маори вполне естественно все называть своим именем.

Когда белому нравится туземка, вся ее семья, мать, родная и приемная, содействуют сближению, — безразлично, замужем ли женщина, или нет. Временные молодожены часто у них же и живут на виду у всей деревни.

Женщины ухаживают по пять, по шесть за одним белым, не ревнуя друг к другу, по очереди принося ему цветы, приводя ему других женщин, если они ему приглянулись.

Каждому белому на острове приписывают необычайное количество детей, так как темнокожие матери всегда утверждают, что отец ребенка белый, хотя бы у них в то же время было десять темнокожих «танэ».

Одинокому белому от добровольной прислуги отбоя нет. Женщин же белых туземки не любят и белым женам приходится мириться со всеми странностями их туземной прислуги. Часто они исчезают на некоторое время, гуляют неизвестно, как и где, потом возвращаются: «youraha!» «Здравствуй, мадам!»

Маори очень музыкальны, к пению и танцам относятся серьезно, деловито.

Что касается болезни, которую не так давно завезли туда европейцы, то белые и черные туземцы относятся с большой привычкой и говорят: «Жалко, она с тех пор подурнела».

Во время испанки, которая докатилась и туда, вымерла добрая половина туземного населения. Говорят, что время это было страшное. В далеких дистриктах, без врачей и лекарств, охваченные паническим страхом перед неизвестной болезнью, туземцы лечились местными способами и купались в холодной воде, чтобы унять сорокаградусный жар. Скоро не стало кому ходить на охоту, на рыбную ловлю, и наступил голод. Не стало кому закапывать трупы и они быстро разлагались под палящим солнцем. Маленькие дети рыли могилы родителям. Изредка приезжали добровольцы на телеге из города, подбирали трупы и уезжали.

И оттого так часто встречается нелепость черного траурного платья на фоне всей этой цветной роскоши.

X
ДЕТИ

And when she was good,
She was very, very good.
But when she was bad,
She was — horrid!!!

Английская детская песенка.
[11]

Детей там любят и балуют, о стариках забывают и не заботятся о них, животных бьют и портят. Впрочем, все равно кошки там паршивеют, собаки облезают и покрываются экземой, а лошади через два поколения превращаются в пони.

По какому-то странному обычаю, детей там воспитывает не родная мать, а какая-нибудь другая женщина. Таким образом у каждого ребенка по две матери, — та, что родила, и та, что воспитывала, и когда ребенок произносит мама, не знаешь, о ком он говорит.

Так, моя горничная Вахинэ воспитывала чужого мальчонку, а ее собственная большая девочка только изредка приходила к ней в гости. Так, принцесса Текау воспитывала дочку брата и девочка жила при ней, в доме королевы.

Девочка эта, шести лет, была красоты невероятной. Совершенно белая, черноволосая, хрупкая, абсолютно прекрасная, она заставляла плясать под свою дудку весь королевский дом. В школе, куда ее попробовали отправить, она тоже не смущалась тем, что другие девочки слушаются, собирала посреди урока свои книги, говорила, что ей скучно, и, волоча за собой сумку, шла домой.

Иногда Текау, несмотря на протесты всего дома, решалась наказать «Ma jolie»[12], как она ее называла. Мажоли сажали в чулан и запирали.

Вот как-то раз ее опять посалили в чулан, в котором хранилась всякая всячина, громоздились картонки со шляпами Текау. Jolie совсем там не шумела, но когда ее выпустили, то оказалось, что она намочила по-свойски шляпы Текау и с удовлетворением сказала ей: «Если ты меня еще раз запрешь, я еще хуже сделаю».

Девочка Кукки, которую приняли к себе Русский и его жена,

по отцу была белая, а по матери полубелая. Мать ее не отличалась ни особою строгостью нравов, ни чистоплотностью, и пятилетняя девочка заболела венерической болезнью. К Русскому в дом она попала полуслепая, изможденная и много видевшая на своем пятилетием веку. Долго и самоотверженно они мучились с ней, сами болели — так трудно в этой стране уберечься от заразы, — но все-таки выходили ее и сделали из Кукки здоровую, чистенькую, благовоспитанную девочку. Она говорила отлично по-французски и по-английски и аккуратно шила своим куклам платья. Большие серые глаза, с постоянно расширенными зрачками, смотрели убедительно наивно. Она усердно помогала вечером мыть посуду, уверяла, что любит свою маму, и всегда говорит «взаправдашнюю правду».

Иногда Кукки разрешалось тряхнуть стариной. Она разувалась, подтягивала шарфом маленький, худенький зад и, подняв одну руку, виляя боками и задом, тем самым движением, которое недостижимо для белой женщины, медленно начинала ввинчиваться в землю и петь тоненьким голоском на незнакомом языке заведомо неприличные песни.

Остановить ее бывало трудно, щеки ее начинали пылать, настойчиво повторяла она слова песни своим детским голоском и дело обыкновенно кончалось слезами. Русский считал, что это вдохновение прирожденной танцовщицы и думал увезти Кукки в Европу и обучать ее танцам.

Я воспринимала это иначе. Между тем, жена Русского, строила на ней счастье своей одинокой старости.

Впрочем, возможно, что я ошибаюсь и, что Кукки и Jolie очень хорошие девочки.

XI
БЕТТИ

Бетти родилась в Индии и за всю свою восемнадцатилетнюю жизнь никогда не провела больше года подряд на одном и том же месте. Жила в гостиницах Китая, Соединенных Штатов, Испании, на океанских пароходах и теперь попала, уже во второй раз, на этот остров.

Когда я с ней познакомилась, она как раз превращалась из все понимающего подростка, щеголяющего черным большим бантом в волосах, длинными ногами под короткой юбкой и слишком тесным лифом, в настоящую барышню. Она начинала подкалывать волосы и закрывать ноги.

Целовалась она и прижималась ко всем, без всякого разбора. Если, оставшись с ней вдвоем, ее не целовали, то удивлялась и явно считала таких людей бездельниками. Готовность ее не знала пределов. Бесстыдна она была до жути. В откровенном разговоре с Андреем, который за ней очень ухаживал, она ему как-то сказала, что ее идеал — это постоянно путешествовать, иметь много нарядов и пять или шесть влюбленных около себя.

За ней следом ходило несколько человек. Самый верный и самый влюбленный был англичанин с Мооpеа. Он учил ее ездить верхом и они вместе купались в море при лунном свете. Иногда Бетти удавалось удрать из-под надзора отца и она проводила часть ночи на пироге в море, или на автомобиле, или уж не знаю, где и как. Женщин она вообще боялась и была с ними робка, но ко мне приходила часто до чаю, пока еще народ не собрался, советовалась, выходить ли замуж за англичанина с Мооpеа, ластилась и спрашивала: «Вы меня любите?»

Действительно, страшно становилось за Бетти при виде ее матери, которая страдала эротоманией. Они были очень похожи: те же длинные, прямые, рыжеватые волосы, голубые, бледные глаза, широкий, плоский, бледный рот, хрупкие кости. Одетая во что попало, с спускающимися дырявыми чулками, растегнутыми прорехами, болтающейся грудью, вся помятая и обвислая, мать Бетти ночью выходила из дому и останавливала прохожих.

У Бетти есть еще годовалая сестренка, розово-белое, пухлое, веселое, замечательное создание. Каждый день встречала я Бетти на скамеечке около ее дома, рядом с ней бэби возится в коляске, а англичанин с Мооpеа, или еще кто-нибудь, занимают Бетти разговором. Либо видела ее на главной кольцевой дороге толкающей коляску с бэби, а рядом идет англичанин с Мооpеа

или еще кто-нибудь. Бетти сестру любила, хотя и относилась к ней рассеянно.

Отец Бетти — инженер, управляющий новым американским заводом на острове — корректный, нормальный человек, замечал, что для характера дочери жизнь в колониях не подходит и решил отправить ее учиться в Сан-Франциско, в католический монастырь. Полились потоки слез. Сидя у меня на террасе, в розовом платье, с бесчисленным количеством воланов, и нервно дергая связанные широкой черной лентой волосы, Бетти рассказывала мне, что из монастыря выпускают раз в месяц, что в Сан-Франциско у нее только одна старая тетка, похожая на кормилицу, и что лучше уж она выйдет замуж, чем пойдет в монастырь.

В монастырь ее все-таки отправили.

Ехали мы случайно на том же самом пароходе. Проплакав первые двое суток и повспоминав англичанина с Моореа, она занялась другим, и я дрожала за ребенка, который ползал по палубе. В каюте Бетти с матерью положили ребенка на верхнюю полку, откуда он моментально скатился, только случайно не убившись насмерть.

Отец остался на острове один, убежденный, что дочка выйдет из монастыря скромной и благовоспитанной барышней.

XII
МЫ ТАНЦУЕМ

Когда будешь большая,
Отдадут тебя замуж
В деревню большую,
В деревню чужую.
Уж и там и дерутся,
Топорами секутся.
И утром там дождь и дождь.
И вечером дождь и дождь…

На террасе с четырех часов накрыт стол. Апау приносит только что испеченное горячее печенье, чай и клубничное варенье. Прямые темно-зеленые плотные шторы опущены. На стене пестрится русская деревенская вышивка, в стекле на столе веселятся радужные зайчики. Другая сторона террасы изнемогает на солнце. Если выглянуть из-за штор, там невыносимо блестит и играет перламутровая почти белая рябь моря. Закроешь глаза, а веки просвечивают, как если положить руку на электрическую лампочку, и рука вдруг становится алой и прозрачной.

Еще сегодня звучат у меня в ушах тоненькие гавайские песни и я вижу полутемную, большую, пустую комнату, с ярко и четко прорезанными четырехугольниками дверей. Танцуем в купальных белых туфлях без каблуков, с резиновой бесшумной подметкой, они чудесно скользят по гладкому полу. К граммофону приставлен аккуратный темный англичанин с Мооpea, которого нам никогда не удастся научить танцевать. Андрей, в узких полотняных белых штанах, подтянутых кожаным кушаком, в рубашке с отложным воротником и засученными выше локтя рукавами, танцует только с Бетти или со мной, с другими он не умеет.

Berthe, жена аптекаря, истово вертится, обливаясь потом и поводя испуганными глазами.

Таути приносит еще чаю.

Солнце начинает садиться за Мооpea.

Поднимаем шторы, отдыхаем на подушках кушетки, на подвешенной на канатах кровати, легонько качаясь на ней.

Мимо дома проезжает губернатор с женой…

Проезжает желтая Испано-Суиза в банк за К Во избежание скандала Ниота спешит домой.

Проезжает в громыхающей коляске инспектор с толстым

животом.

Кто-то зовет Бетти. — «До завтра». Англичане с Мооpеа идут ее провожать.

Вот возвращается Суиза с К.

Скоро мы останемся вдвоем. Теперь скорей под душ. Вахинэ накрывает на стол. Темно. Пообедаем и сядем на скамеечку, что против нашего дома, на берегу моря.

XIII
О ЧЕМ ПРИМЕРНО Я ДУМАЛА, СИДЯ ВЕЧЕРОМ НА СКАМЕЙКЕ ПЕРЕД НАШИМ ДОМОМ У МОРЯ

Продавщица, у которой я вчера купила материю на платье, была в черных перчатках.

Сегодня ее отвезли в лепрозорий. Говорят, что инкубационный период проказы пять лег.

Вот гудок. Это пароходик с «Raiatea»[13]. Ему давно пора на слом, а все продолжают спокойно ездить на нем.

Море сегодня хмурое, китайцев с черным зонтиком под мышкой верно укачало, как всегда. (И отчего это они всегда с зонтиком ездят?).

С «Raiatea» сегодня приезжает инженер…

Надо сказать Апау, чтобы он брал побольше льда.

Ванилью здесь пахнет только в первый вечер…

Землетрясение — это совсем не страшно: стена, к которой я прислонилась, чуть дрогнула, и стаканы на столе зазвенели…

Говорят, вчера акула к самому берегу подплыла. Бетти такая неосторожная, купается ночью со своими англичанами и выплывает так далеко. Какая Бетти бледная, золотоволосая, тоненькая. Баловаться очень любит.

В кинематографе Тамари сейчас, верно, перерыв, все вышли на улицу, щелкают орехи и едят арбузы.

— Как ты думаешь, м-м Какаду, хорош ли будет жеребец, которого мы вчера видели? Я очень беспокоюсь, что у него плечо слабое.

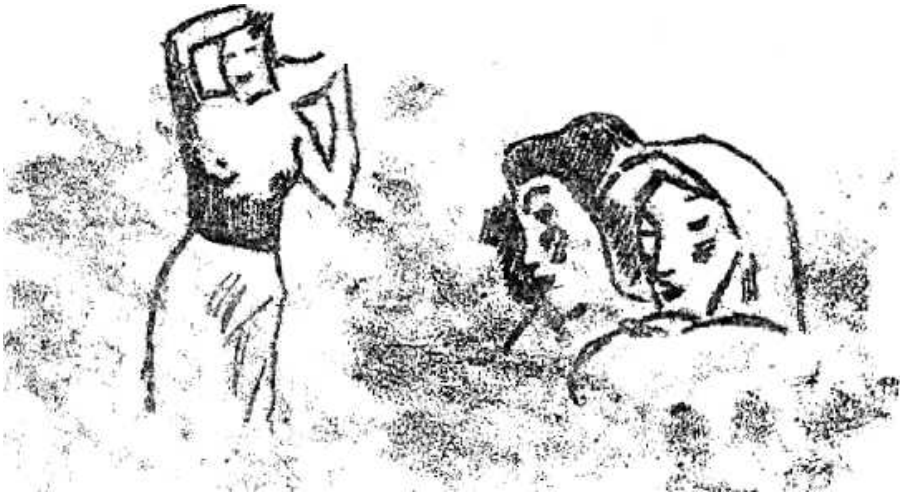
— Не беспокойся, пока это выяснится, пройдет года два, и мы будем в самой обыкновенной Европе.

В Тамари, верно, опять завертелась использованная фильма. Мчатся каубои, и гармошка гудит все тот же постоянный мотив, Бернар переводит надписи на Маори и отпускает неприличные шутки, понятные туземцам…

Почта придет через три недели, можно начинать писать письма…

Отчего эти листья днем совсем темные, а ночью белые?…

— М-м Какаду, пора спать!



XIV
ТАУТИ

Мне пришлось отказать Вахинэ, так как с каждым днем она приходила все позднее и все пьянее; танэ ее становился все злее, скандалы ночью во дворе — все громче и кончилось тем, что Вахинэ, избитую сапогом, отвезли в больницу.

Наконец мне удалось найти заместительницу для Вахинэ. Ее звали Таути и было ей 18 лет. По типу она несколько отличалась от туземцев — большая, широкоплечая, высокогрудая, у нее, в отличие от них, было круглое, полное лицо, маленькие черные глазки, пухлые губы, кудрявые, короткие черные косички — словом, она напоминала туземцев соседнего архипелага.

Нрава она была веселого, кроткого, добродушного на редкость, ходила гулять с подругами, танэ же у нее никогда не видели. Больше всего Таути любила кинематограф. Она серьезно предупреждала, что сегодня надо кушать раньше, так как среда — перемена программы, и мы послушно, торопливо обедали. Таути бежала переодеваться в свой домик во дворе. Как и все островитянки, она была очень стыдлива, но раздевалась при раскрытой двери и с улицы все проходящие мимо могли смотреть на ее темное голое тело.

Как-то раз, когда Андрей был в отъезде, я предложила Таути пойти со мной в кинематограф. Пообедали с невероятной быстротой и Таути уже побежала одеваться, когда неожиданно разразился дождь. Кругом дома — вода, словно нас вдруг опустили на дно морское. Но накрахмаленная Таути, стоя рядом со мной на террасе и наблюдая этот потоп, в ужасе повторяла:

— Это ветер, мадам, право же это только ветер.

Пришлось мне надеть непромокаемое пальто и окунуться в дождь. Рядом, неся туфли и чулки под мышкой, плыла сияющая Таути, довольная, что ей удалось уговорить меня, что это не дождь, а ветер.

Мимо, в темноте, проходили другие фигуры, шедшие в том же направлении, так же, как Таути, неся туфли и чулки под мышкой.

Вот, наконец, яркие, расплывающиеся в дожде огни кинематографа Тамари. Входим в переполненный зал; публика обувается.

В антракте Таути, желая отплатить за любезность, бежит на улицу и приносит мне орехов и огромный ломоть арбуза.

На обратном пути дождя уже нет, шлепаем по лужам под

ясным небом.

XV
ВЕСНЫ ТАМ НЕ БЫВАЕТ…

И начнется, и гул пойдет…

Пастернак.[14]

Я родилась в Москве, привыкла к весеннему морозу, радости вешних вод и начинающего прогревать солнца, к румяной, белой баловнице кормилице Стеше, к извозчикам— «я вас катаю, барышня, на резвой!» — к антоновским яблокам, и кривому Голиковскому переулку, что направо от Пятницкой. И не знала я, что действительно весел мороз, что на самом деле радостны вешние воды, не знала, как мила Стеша, извозчики, вкусна желтая антоновка и живописен кривой переулок. Когда же нет зимы, а значит нет и весны, когда нечему таять, а сердцу нечему радоваться и нечего ждать, когда не бродишь по кривым переулкам и чего-то ищешь, как будто что-то потеряла, и стараешься что-то вспомнить, что вот-вот появится в памяти и вновь ускользнет. А с крыш там падают крупные капли, непохожие на слезы, из водосточных труб вырываются водопады и не знаешь, надеть ли ботинки или галоши, садиться ли в пролетку или в сани; а солнце, виновник этого замечательного торжества, смотрит сверху на суету и нетерпение и тихонько собирается с силами, чтобы уж греть вовсю. Когда все это недостижимо, непостижимо, далеко, то хочется зверем завыть от тоски.

Кто знает наркоз и не любит наркоза, кому знакомо последнее напряжение и протест перед тем, как заснуть под маской хлороформа, тот поймет, как окутывает и опутывает эта земля: так же приторно сладко, неизбежно и мучительно. Родной говор, Кузнецкий мост, гимназия Балицкой, все реже и реже выскакивают на поверхность сознания и скоро останутся «сегодня» и «завтра» и всегда только сторожащее нас море, тесно сжимающее кольцо кораллового рифа, влажная бесшумная зелень, яркость цветов, величавые темнокожие, люди, солнце восходящее и заходящее и блеск ночи, душной, как день…

XVI
АНДРЕЙ УЕЗЖАЕТ

Ты, говорит, меня, говорит,
Мучаешь напрасно.
Я, говорит, тебя, говорит,
Люблю ужасно.

Сегодня Андрей уезжает на военном пароходе А-н на Маркизы. Верно, недели на три… Собираю его вещи. Несессер у Андрея сделан на заказ, серьезно обдуман и основан на многолетнем опыте. Вещи в нем действительно все только нужные, без хрусталя и вензелей, годные для употребления и способные выдержать всякие передряги: вместительные флаконы не проливаются, щетки чистят, ножницы режут.

Мне остается долить флаконы, положить платки, рубашки, полотняные брюки. Андрей огорченно бродит вокруг меня.

Пароход отходит вечером. Беру с собой Таути, чтобы не так грустно было возвращаться. На берегу уже ждет инспектор с толстым животом, он тоже едет. С парохода выслали шлюпку.

— М-м Какаду, — говорит мне на ухо Андрей, — зажигай и туши свет на террасе, я увижу с моря. — Шлюпка отчалила и ушла в темноту. Стоять на берегу больше незачем. Захожу в дом аптекаря, который рядом, и жду, чтобы раздалась сирена отходящего парохода. О чем-то говорим… Вот она. Взвыла, залилась… Прощаюсь — и бегом бегу домой. За мной еле поспевает Таути. Дома, на террасе, зажигаю все четыре больших фонаря. Потом тушу, потом снова зажигаю.

Пароход, который долго маневрировал, чтобы повернуть, только теперь проползал мимо дома. Очертаний его не видно в темноте, только огни мерцают. Они уходят все дальше, становятся все меньше. Снова тушу, снова зажигаю четыре фонаря, пока темнота не закрывается над далекими огнями парохода… Окончательно тушу свет на террасе и, волоча ноги, иду в большую спальню. В соседней комнате слышится легкий храп Таути. Господи!..

XVII
КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ

Помарэ — династия, владевшая Таити с 1793 г. Последний король этой династии, Помарэ V, отказался от престола в 1880 г. и умер в 1891 г.

Энциклопедический словарь.

Королевская семья многочисленна. Маори королевской крови можно узнать по особенно большому росту, величавой дикости лица, спокойной гордости походки и осанки.

Королева Марау, вдова Помарэ V, живет на пенсии французского правительства, а также получает доходы со своих плантаций. У королевы много родни, дом ее постоянно переполнен, надо поддерживать престиж, и она всегда кругом в долгах. Похоже это на наши белые нравы до слез. Туземцы распускают про королевский дом всякие гнусные слухи и каждому члену семьи приписывают несколько отцов, любовниц, любовников, болезней и просто краж. Но какая-то традиция все же сохранилась, так, например, на плантациях, принадлежащих королевской семье, никто никогда ничего не тронет, так как верят, что это грех, который карается проказой.

Текау — единственная из детей королевы Помарэ, которая носит титул принцессы, так как остальные дети родились после смерти короля. Впрочем, говорят, и ее отец не король, а заезжий адмирал. Для белых это постоянный источник шуток, но сама Текау к титулу своему относится очень серьезно.

Текау долго жила в Европе, великолепно владеет языками и очень хорошая пианистка. Прекрасный остров она покинула бы на веки вечные, если б денежные дела обстояли иначе, или если б она согласилась считать себя за обыкновенную смертную и жить с тем сообразно.

Прежде, когда она привлекала кого хотела своей осанкой, черной косой до колен и действительной загадочностью, в те времена каждый пароход увозил полюбивших ее. Но подошла война, про остров забыли, и Текау осталась одна.

Я ее боялась, так как под видимостью светской, очаровательно простой и любезной женщины я чувствовала

возможность жутких приемов для достижения своих целей.

Текау принимала меня в полутемной, завешенной туземными вышивками комнате, с широчайшим диваном, роялью и массой фотографий. Она сидела, положив ногу на ногу, на качалке, слегка покачиваясь. Черная, гладкая толстая коса, перекинутая через плечо, лежала, свернувшись на коленях, большое, зрелое, начинающее грузнеть тело, пряталось в белом прямом сарафане, немногим отличающемся от платьев ампир, которые носят темнокожие; бледные, холеные, прекрасные руки на ручках качалки, тонкие щиколотки длинных ног. Она говорила о Париже и надежде вырваться отсюда, рассказывала о легендах острова, о нравах и обычаях туземцев. В комнату вбегали и выбегали темнокожие женщины, приносили холодный яблочный сидр, фрукты.

К почтительности Андрея Текау относилась с опаской, мое же отсутствие самоуверенности, неистощимая и непоколебимая доброжелательность справились даже с ее подозрительностью. Правда, она мне о себе ничего не рассказывала, но почти не хитрила и кажется, никакая интрига не была пущена в ход. Часто она присылала мне с прислугой всякие местные блюда, еще горячие, прямо на тарелке, а когда Андрей уезжал на военном пароходе А-н и я тоскливо ждала его, не зная, когда он вернется, то спешно присылала ко мне сказать, что на горизонте показался дымок. Впрочем, в такой день ко мне со всех сторон прибегали люди с вестью — едет! Тогда я заказывала Апау курицу с рисом, садилась на скамеечку на берегу перед домом и часами ждала. Смотрю, как очарованная, вдаль на серый дымок и так сильно мое желание, чтобы он скорее был здесь, рядом, что кажется — это оно, как на канате, тянет пароход с горизонта сквозь проход в коралловом рифе в синюю, зеленую воду у моих ног. Вот он ближе, отчетливей и вот — вырос передо мной— большой, серый, важный.

Тогда срываюсь и мчусь на велосипеде к тому месту, где пароход причаливает. Он повернут к берегу кормой, на корме стоит Андрей и машет рукой. Он совсем близко, я вижу, как двигаются его губы, но ветер уносит слова. Вижу, как он похудел, загорел. Ветер треплет мою юбку и распластывает ее на ногах, солнце печет, но я терпеливо жду, когда пароход окончательно причалит и спустят шлюпку.

Андрей осторожно ступает рядом со мной, словно боится расплескать свою радость, смотрит на меня так, что лучи идут, и говорит: «Какая ты маленькая и говоришь с иностранным акцентом».

Дома едим курицу с рисом и Андрей, урча от удовольствия,

рассказывает о том, что острова Маркизы такие зеленые, что наш зеленый остров перед ними кажется серым и пыльным. Зелено, влажно, тонко и зловеще. Последние жалкие туземцы вымирают от туберкулеза. Скачут дикие красивые лошади. Высадиться на берег очень трудно, так как высокие скалы отвесно спускаются в воду. Надо ждать, когда волна поднимет шлюпку на уровень верхушки скалы, и тогда прыгнуть. Если ошибиться в разбеге, или опоздать на четверть секунды, шлюпка снова оказывается далеко внизу и можно расшибиться насмерть. Доктор парохода отказался прыгнуть и это очень стыдно, а инспектор, несмотря на большой живот, без разговоров прыгнул. Рассказывает, что очень качало и ему было сильно плохо, но так как он был гостем, то болеть было нельзя. Что офицеры на А-н уже все переговорили между собой и теперь у них разговоры нумерованные. Например, № 1 — политика, № 2 — скверный характер капитана, № з — женщины и т. д. Номеров очень мало, тема быстро истощается, а № 1 тот, например, всегда ведет к недоразумениям. Положение спасает № з, единственный, который не вызывает никаких недоразумений и несогласий, неистощим и всех удовлетворяет. Рассказывает, что привез мне деревянного бога и чашку, но что бог остался в кают-компании А-н.

Рассказывать про это можно без конца.

XVIII
ПОЧТА

Там дом стоит, он весь в окошках,
Он Пятницкой направо от
И гадость там на курьих ножках
Живет и писем мне не шлет.

Маяковский. (Из письма.)[15]

Регулярно раз в месяц приходит пароход, привозит почту, стоит сутки и едет дальше. Иной раз утром проснешься, а за ночь на море, перед самым домом, вырос пароход. В городе волнение и нетерпение. С раннего утра все ходят торжественные и нарядные. Шныряют автомобили, грохочут двуколки. И откуда их столько набралось! На велосипедах проезжают разубранные цветами туземцы, обнимая темнокожих девушек, сидящих боком на раме велосипеда перед ними. Другие стоят на берегу и смотрят на пароход, который еще нескоро подойдет к берегу. А с парохода смотрят на них и верно видят все так, как я когда-то видела все в день приезда. Но они не знают, что на самом деле это выглядит совсем по-другому Berthe, жена аптекаря, ко дню почты подсветлила волосы.

А если наступить на правый конец ступеньки, что ведет в серое здание почты, то левый поднимется и стукнет.

Этого чужие люди не знают…

Редко кто из этих путешественников остается на острове. Разве от парохода до парохода застрянет какой-нибудь «граф Рабинович», скупщик жемчуга, или американец, покупающий копру (сушеный кокосовый орех). Обыкновенно же они едут дальше продавать свиней, кинематографические фильмы, зарабатывать деньги. Ночь проведут у Джонни Гудин, или в гостинице «Тиарэ», а назавтра уедут, думая о нас с удивлением, как мы о жителях полустанка, о каком-нибудь телеграфисте, который выглядывает из окна станционного здания, чтобы посмотреть на курьерский: «Как это они могут здесь жить!»

Серое деревянное здание почты находится на кольцевой дороге. Обыкновенно мы сидели там и ждали, чтобы разобрали почту, иной раз часами, каждые две минуты отпирая дверцу своего почтового ящика, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь нового. Письма читались тут же, на месте, и сейчас же

рассказывались последние новости, которым, иной раз было уже месяца два. А какое горе, когда ожидаемое письмо не пришло! Ждать опять целый месяц…

Вечером перечитывали письма, рассматривали «Illustration»[16] и поздно разговаривали. Ночь проходила тревожно: город наполнялся шумом и беспорядком, мимо дома, в темноте, проносились переполненные автомобили, слышались пьяные крики, быстрый топот босых ног, смех, громкие слова, окрики, шепот, песни и возня.

Прислуга в эти дни приходила поздно или совсем пропадала, а дом приходилось стеречь и запирать от чужих людей.

На следующий день по городу продолжали ходить, волоча ноги, хмурые пассажиры парохода, которые уже ездили из города направо и налево, видели закат, и которым больше нечего делать и некуда деваться. Они скучают и им очень жарко.

Еще несколько часов усиленного волнения в городе — и пароход уйдет. Долго будет поворачивать на рейде, взвоет, протиснется в проход в рифе и начнет бесконечно удаляться. Синяя и зеленая вода, набегающая на берег, успокоится, и будет казаться, что чего-то не хватает, как если из маленькой комнаты вынести большой железный шкап. И как на полу, под вынесенным шкапом, оказывается пыль и сор, так после отъезда парохода, на том месте, где он стоял, в яркой воде плавают бумажки, корки от апельсинов, бутылки.

Быстро затихает городок, куда-то исчезают автомобили и люди, изредка еще встречаются пьяные и какие-то гуляки с девушками, которые так разошлись, что не могут сразу остановиться. Но на них уже смотрят с неодобрением. На следующий день все в полном порядке. Опять тишина, покой и ожидание следующей почты.

XIX
В ЗАКРЫТОМ АВТОМОБИЛЕ

Королевская семья распускала слухи о том, что барон S., офицер с корабля А-н, жених принцессы Текау. Туземцы стали принимать офицеров особенно пышно. Раз как-то один из дистриктов устроил для них пиршество на всю ночь. Больше никто не был приглашен, но и Ниоте и мне, по непонятной причине, сильно хотелось присутствовать на празднике.

Преодолев всякого рода невероятные трудности, мы, наконец, поздно вечером уселись в автомобиль. Андрей впереди с шофером, мы с Ниотой — сзади.

Начинал накрапывать дождь, пришлось поднять холщевый верх. Подпрыгивая побежал легкий автомобильчик. Последние дома скоро остались позади. Справа темнело море. Перед нами тряслись две белых одинаковых спины. Мы ближе придвинулись друг к другу. Дождь начинал захлестывать. Шофер слезает и застегивает автомобиль со всех сторон. Снова трясемся в темной, душной коробочке со слюдовыми, мутными окошками: теряем чувство времени и пространства. Урчание автомобиля, шум моря, гудки на поворотах, плеск дождя, мрак, теплая, сухая, испуганная ручка Ниоты, покачивающиеся перед нами чужие спины, а в конце всего этого песни, танцы, крики, незнакомые лица… Стараюсь ухватиться за что-нибудь незыбкое — ничего нет, все исчезает, будто испаряется, одни только тени и гул, устремление вперед и ощущение встряхивания на месте… Оторвана от всего, брошена, проваливаюсь… Может быть, это и есть настоящее, может быть, я именно сейчас поняла?

Чужая спина оборачивается, я вижу мокрое лицо Андрея: «Не стоит ехать дальше, праздник все равно не состоится под таким дождем». Поехали обратно. Сильно трясло, дождь стал пробираться сквозь верх. Андрей злится на меня. Ниота горюет. Дома нас не ждут и не приготовят чай. Вещи снова стали вещами и вернулись на свои места.

На следующий день мы узнали, что в дистрикте дождя не было и что праздник удался на славу.

XX
ПРИЕМ У КОРОЛЕВЫ ПОМАРЭ

У экс-королевы Марау Помарэ — прием: обед и танцы. Приглашены офицеры с А-н, приезжие богатые американцы, родственники королевы и мы. Всего человек тридцать.

Снаружи деревянный дом королевы кажется небольшим, внутри же много просторных, высоких комнат. В гостиной мебель обтянута красным шелком, на стенах разнообразные подарки от заходивших в порт пароходов.

Королева Марау, в шелковом, шумящем широчайшем платье ампир принимает гостей сидя в кресле, которое заполняет целиком. Офицеры при орденах, другие мужчины в смокингах, дамы в бальном. Ждут принцессу Текау.

Я знаю, что за этой стеной ее сейчас причесывает парикмахер, голова ее в его распоряжении и она неподвижна, но продолжает рвать и метать, рассылает во все стороны мелких родственниц, не находит целых чулок подходящего цвета, ругает девчонку, которая очищает мелом почерневшие места на золотых туфлях. Тут же спешно доглаживают тюлевые крылья бального платья.

Текау всегда приходит поздно, когда ее перестают уже ждать. И в этот вечер она также поздно и сенсационно появляется в желтом открытом платье с длинным шлейфом. Она хороша и импозантна, крупная, черноволосая, даже не смуглая, с ровным цветом лица, без румянца, с прекрасными голыми плечами и руками.

Теперь можно садиться за стол. Налево от меня барон S., направо брат Текау. С., состоящий при Текау — по правую ее руку, по левую Андрей. Королева сидит по середине стола, напротив Текау. Напротив меня — лейтенант В., ухаживает за своей соседкой американкой, хорошо сохранившейся, веселой дамой лет сорока. Обед ползет с удивительной медлительностью. Подают половые из гостиницы «Тиарэ». Текау следит за сервировкой и внутренне бушует при каждом промахе. Барон S. разговаривает со мной и любезно изливает свой яд на все и на всех. Андрей слишком много ест и не обращает никакого внимания на свою даму, а после обеда у него будет болеть под ложечкой. Я делаю ему страшные глаза. Американка напротив меня и В. сильно заняты друг другом. Барон S. от тоски и презрения к окружающим начинает относиться ко мне дружелюбно. Наконец, встаем.

В гостиной с красной мебелью стулья отодвинуты к стенкам.

Заводят граммофон. Пластинки мы накануне собирали у всех знакомых. Гости недружелюбно стоят и сидят по стенкам. Андрей осовелый устроился в углу. Подхожу к нему и горько упрекаю за поведение за столом, но он утверждает, что пытался разговаривать с Текау, да она его не слушала, а что теперь положение безнадежно, так как он переел ракового супа. Подхожу к Текау и стараюсь как-нибудь это загладить. Старый муж американки в красивом платье, ходит за мной следом и говорит: «a fascinating girl»[17]. Лейтенант В. очень много со мной танцует, и я довольна.

Потом — дивертисмент: заезжая американская кокотка Rose-Marie под француженку и под испанку зараз, якобы танцовщица, демонстрирует себя на сцене.

Сцена устроена очень ловко, с рампой и занавесью, матросы с А-н постарались, S. прислал их еще с утра.

Танцует Rose-Marie под граммофон. Граммофон едва слышно, все плохо клеится. — «Первая любовь», — провозглашает она. Слышится сдержанный, но недостаточно сдержанный смех.

Благодушный американец, рослый, здоровенный детина, с которым Rose-Marie путешествует, одиноко пьян, рядом в столовой и аплодирует ей оттуда. Очевидно, что пьян он бывает постоянно.

Потом снова общие танцы до поздней ночи.

На следующий день самолюбивая озлобленная Текау говорила со мной о неудавшемся вечере.

Часто стали ездить в экскурсии и на пикники.

Ездили из города направо и налево, ночевали где придется, в самых различных дистриктах.

Комнаты, в которых мы проводили ночь, в моей памяти сливаются в одну: просторно, чисто, пусто. Кровать, крытая тифе-фе, на стенах фотографии, венки и цепи из мельчайших цветных ракушек. Свет от свечки дрожит и раскачивает предметы и стены. Простыни прозрачны и пахнут непонятным, как в первый день приезда. Так же жужжат комары. За окном и открытой на террасу двери блестит ночь. Не спится и хочется, чтобы это скорей кончилось. Кругом ощущаешь людей, которые здесь дома, которые понимают, что мы говорим, мы же их языка не знаем. Чудится заговор между темнокожими людьми, жарой, яркой ночью, редкими простынями, венками из ракушек и всем, что кругом нас.

Утром встаешь усталая и довольная, что ночь уже пережита. Улыбаешься темнокожим, приветливым молчаливым людям, которые спокойно занимаются своим делом. Бегаешь по зеленому

газону, рвешь с кустов большие, мясистые цветы, мочишь ноги в ближайшей речке, так как хочется посмотреть, что по другую сторону, присаживаешься на толстый сук, любуешься, радуешься и вскакиваешь, спугнутая сонным комаром. Потом влезаешь в автомобиль и едешь дальше.

По дороге делаем снимки, пытаемся купить тифе-фе. Туземцы делают их для себя и гордятся ими, хвастают, показывают аккуратно сложенными на шкапу, но ни за какие деньги не хотят продать.

В городе ходили вечером в кинематограф и в китайский трактир ужинать.

Несколько раз остров встряхивали землетрясения. Когда мне казалось, что у меня закружилась голова и хотелось за что-нибудь схватиться, чтобы не упасть и в то же время звякает посуда или что-нибудь падает, — значит, землетрясение.

Я бегала по городу, покупала фотографии, искала тифе-фе. Тифе-фе, — это очень большое покрывало для постели. Оно делается из бумажной, обычно белой, ткани с нашивками из материи другого цвета: зелеными, красными, синими. Нашивки эти, сложная форма которых часто изображает листья бледного дерева или другие растения, вырезываются мужчинами и потом необычайно тщательно нашиваются женщинами на фон. В хорошо сработанном тифе-фе узор кажется накрашенным, а не нашитым. Мне удалось достать большое, белое с желто-оранжевыми нашивками, изображающими корону и веер королевы Гавайских островов.

XXI
ОТЪЕЗД

Уезжали мы на том же пароходе, на котором приехали; всего ведь только два парохода, чередуясь, заходят на остров.

Со всех сторон нам несут подарки: золотистый жемчуг, перламутровые плоские раковины, прозрачные раковины, самых причудливых форм, красные, тонкие перышки каких-то птиц с соседних островов, венки и цепи из микроскопических цветных ракушек, плетеные шляпы, коробочки и веера. Мы тоже раздариваем все, что у нас есть, — сундуки из кедрового дерева, складные холщевые стулья. Продали велосипеды. Кое-какую мебель жалко было продавать или дарить, все надеялись, что ее как-нибудь переправят в Европу. Она и по сей день там.

Таути волнуется и горюет. Каждый день она мне приносит новые подарки.

Вытаскиваем чемоданы из запертых комнат. Их чистят, выколачивают, ставят на солнце, чтобы вывести сырость и насекомых.

Начинают складывать вещи. Грустные лица, обещания не забывать и писать.

Пароход, который должен нас увезти, пришел, как всегда, как всегда, в городе волнение по поводу прибытия почты. По улицам ходят люди, с которыми мы поедем на пароходе, мечется заплаканная Бетти, которая тоже уезжает на этом пароходе с матерью и бэби, за нею бегает англичанин с Мооpеа. А-н уехал на острова Туамоту. Со всеми попрощались, все сделали. Чемоданы отправлены.

На пристани суматоха. Грузят пароход.

Аптекарь с женой Henriette, их брат с женой, Лулу Симон, Русский с женой и Кукки, Таути, Тапу, Джонни Гудин и многие другие, — все разряженные, с цветами, стоят на пристани. Проходит знакомый капитан парохода, который нас увезет. Говорит, что скоро снимут мостки. Начинаем прощаться, целуемся. Таути плачет, крупные слезы текут по милому темному лицу. Грустно смотрит Henriette. Подбегают проститься англичане с Мооpеа. Спешит Текау с цветами и смешным веером — последним подарком. Тапу сует корявую, большую, теплую руку…

Взбираемся по мосткам. Их убирают, но пароход не отчаливает и возня кругом продолжается еще час, другой. Пристань пустеет, только англичанин с Мооpеа и плачущая Бетти

продолжают перекликаться.

И вот, наконец, пароход дрогнул, всколыхнулся. Долго поворачивает и, наконец, тронулся и двинулся прямо перед собой.

Вот здание почты… Вот дом аптекаря… Вот под пожаром горящим, цветущим деревом, контора Леви… А вот наш милый дом… Я вижу зеленые шторы, четыре китайских белых фонаря, флагшток… Таути стоит на веранде и машет платком. Сегодня же вечером она забудет и будет смеяться…

По берегу бегут маленькие лошадки, быстро и словно на месте перебирая ногами, катятся, подпрыгивая, легонькие форды, медленно, величаво проходят темнокожие люди. Посередине острова горы, очертания их мягки. За зеленым Мооpea садится солнце.

Пароход подвигается вперед, выезжает из зеленой и синей воды с ясным морским дном, сквозь узкий проход в коралловом рифе, в большой серый океан.

Я думаю о том, что вчера опять землетрясение встряхнуло нас и до рези в глазах, до слез смотрю на исчезающий остров.

Примечания

Биография Э. Триоле (Э. Ю. Каган, 1896–1970) достаточно хорошо известна, и пересказывать ее не стоит. В Эльзу были влюблены Р. Якобсон и В. Каменский, позднее, уже в Берлине — В. Шкловский. К несчастью своему, в юности она избрала В. Маяковского, который при первой же встрече страстно увлекся старшей сестрой Эльзы, Л. Ю. Брик. В 1918 г. Эльза покинула Россию и в сопровождении офицера Андре Триоле, служившего при французской дипломатической миссии, отправилась на Таити; период жизни с Андре на главном острове Французской Полинезии и описан в ее книге «На Таити». Брак Эльзы и Андре распался в 1920 г., однако она сохранила фамилию первого мужа и после того, как стала спутницей жизни французского писателя и поэта-сюрреалиста Луи Арагона.

Печатается по публикации в журн. «Русский современник» (М.-Л., № 3, 1924) с исправлением некоторых устаревших особенностей правописания и наиболее очевидных опечаток.

notes

Примечания

1

Не могу того таити… — Шуточное стих. Р. О. Якобсона (1896–1982).

2

…*королевы Помарэ* — Речь идет об Иоанне Марау Таароа а Тепау Сальмон (1860–1934), в 1875–1887 гг. жене кронпринца, затем короля Помаре V (1839–1891), последнего монарха Таити.

3

…*Моорea* — один из островов архипелага островов Общества во Французской Полинезии.

4

… Koh-I-Noor — Знаменитая компания-производитель карандашей (ныне также художественных и конторских принадлежностей и т. п.), основанная в 1790 г.

5

…*макадаму* — Макадам — шоссе из мелкого щебня, по имени изобретателя такого покрытия, шотландского инженера Д. Макадама (1756–1836).

6

…*«Великого Розенкрейцера» Всеволода Соловьева* — Роман (1890) писателя, исторического романиста В. С. Соловьева (1849–1903) о графе Калиостро.

7

… *père Rougier* — отец Ружье (франц.). — Имеется в виду Э. Ружье (1864–1932), миссионер, богатый предприниматель; в описываемый период — одна из самых заметных фигур на Таити.

8

…*La baie des Braves* — Бухта смельчаков (франц.).

9

«The Christmas Island» — Книга Э. Ружье «He Christmas: South Seas (Oceanie)» об острове Рождества (1914).

10

…*matelote au vin rouge* — Матлот под соусом из красного вина (франц.).

11

And when sher was good… — «И когда она была хорошей / То была очень, очень хорошей. А когда была плохой / То была — ужасна!!!» (англ.).

12

…*Ma jolie* — Моя радость (франц.).

13

…*Raiatea* — Второй по величине остров в архипелаге островов Общества.

14

И начнется, и гул пойдет… — Цит. из стих. Б. Л. Пастернака (1890–1960) «Воздух дождиком частым сечется» (1918), вошедшего в стихотворный цикл «Весна».

15

Там дом стоит, он весь в окошках… — Шуточное стих, из письма В. В. Маяковского (1893–1930) к Э. Триоле от 5 февр. 1917 г., которое автор приписал А. С. Пушкину.

16

…*«Illustration»* — Т. е. «L'Hlustration», иллюстрированный еженедельник, издававшийся в Париже в 1843–1944 гг.

17

…*afascinating girl* — Удивительная девушка (англ.).